Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2025. Т. 28. № 2. С. 156–170
Lomonosov Linguistics and Intercultural Communication Journal, 2025, vol. 28, no. 2, pp. 156–170

И.Л. Анастасьева

КУЛЬТУРНО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ И КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
Москва, Россия; anastasyevairina@gmail.com

Аннотация. Роман Бернхарда Шлинка «Чтец» принадлежит к тому виду художественных произведений, о которых говорят, как о литературе «воспоминания и напоминания», таким образом, данный нарратив вписывается в коммеморативный дискурс, и прежде всего той гранью, которую исследовал французский социолог Морис Хальбвакс. Речь идет о конгруэнтности таких понятий, как индивидуальная память и память коллективная, иначе — автобиографическая и историческая. Впоследствии к теории М. Хальбвакса присоединится немецкий египтолог Я. Ассман, классифицируя память «живую», рождающуюся в процессе непосредственной коммуникации, и символически-культурную, существующую в рамках общественных представлений.

Идея наложения друг на друга двух видов памяти и возможности ее «ратификации» носителем воспоминаний была сформулирована французским ученым в книге «Социальные рамки памяти» сто лет назад, в 1925 году. Однако очевидна востребованность данной книги в сегодняшние дни, причем более, чем в годы ее издания. Роман Б. Шлинка становится яркой иллюстрацией проблемы отказа молодого поколения Германии первого послевоенного десятилетия от коллективной памяти в пользу памяти индивидуальной, а также попыткой осмыслить этот социально-исторический дискурс. Целью работы является исследование отображенного в романе процесса преодоления коммеморативного индифферентизма, формирования коллективной памяти в послевоенной Германии, преломленного сквозь призму личного восприятия культурологического нарратива.

Ключевые слова: историческая память, коллективная память, индивидуальная память, коммеморативные практики, Бернхард Шлинк, безграмотность, текст в тексте

doi: 10.55959/MSU-2074-1588-19-28-2-11

Анастасьева Ирина Леонидовна — кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры сравнительного изучения национальных литератур и культур МГУ имени М.В. Ломоносова; anastasyevairina@gmail.com

© Анастасьева И.Л., 2025

Для цитирования: Анастасьева И.Л. Культурно-символическая и коллективная память в художественном тексте // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2025. Т. 28. № 2. С. 156–170. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-28-2-11

Актуальной проблемой сегодняшнего дня, возникающей при изучении коммеморативных практик, вопросов коллективной ответственности и культурной памяти, является противоборство двух феноменов, коррелирующих друг с другом, — феномена «пассивного забывания» исторического события (деструктивная практика) с феноменом активного возрождения, мемориализации того же события в контексте выстраиваемой новой или воссозданной исторической парадигмы, с тем чтобы дать более полное представление о характере коммеморации. Коммеморативные практики — это широкое понятие, определяемое как «визуализация, объективизация культурной памяти»; коммеморацию следует интерпретировать как «совокупность публичных коллективных практик, направленных на формирование ценностей и моделей поведения через ритуально оформленное удержание и воспроизведение (повторение) в актуальной культуре значимых для группы, символически выраженных представлений о прошлом» [Шуб, 2018: 162]. Согласно исследованию, проведенному немецким культурологом, историком Алейдой Ассман, политический и культурный контекст, присущий нации или небольшой этнической группе, определяет ее восприятие истории и мира в целом, преломляясь в различного рода мемориальных практиках. Иначе говоря, воспоминание и забвение — конгруэнтные процессы в коммеморативном дискурсе, регулируемые актуальным политическим или социальным нарративом, их совокупность обеспечивает когерентность коммеморации. По мнению А. Ассман, забвение, активное разрушение тех или иных воспоминаний («непассивное забывание») само по себе также должно быть частью изучения практик мемориализации, ибо это «спланированная стратегия», вид «предписанного забвения». Коммеморативные практики, таким образом, не только способствуют созданию (восстановлению, изъятию из небытия) прежних или новых традиций, но и попранию тех, которые не созвучны эпохе [Ассман, 2014: 34–61]. В книге «Память, история, забвение» французский философ Поль Рикёр пишет, что взаимная связь между воспоминанием и отказом от памятования влияет и на восприятие исторического опыта, и на создание исторического нарратива [Рикёр, 2004: 693–700].

Коммеморативный дискурс вмещает в себя опыт многих научных направлений, решающих мемориальные задачи по вос-

становлению исторического дискурса: культурологии, истории, филологии, социологии и др. Поэтому неслучайно американский культуролог Хейден Уайт был убежден в том, «что у историков нет никаких очевидных преимуществ перед авторами художественных произведений, поскольку они также мыслят при помощи риторических тропов и “осюжетивают” материал источников в виде трагедии, комедии, сатиры или романа» [Уайт, 2014: 7]. Говоря другими словами, Уайт подчеркивал мысль о том, что литературно-художественные произведения в не меньшей степени, по сравнению с историко-социологическими исследованиями, способны анализировать процесс формирования социальных представлений нации о прошлом, отвечать на вопрос, что стоит за человеческим желанием помнить и предавать забвению, благодаря чему индивидуальное воспоминание есть не только непосредственное свидетельство о прошлом, но и симптом, порожденный культурным этническим контекстом, проблемами культурной коллективной и индивидуальной памяти.

Тема коллективной ответственности немецкого народа за совершенные во время Второй мировой войны злодеяния, проблема формирования новой историографии являются основными в романе немецкого писателя Б. Шлинка «Чтец»[1]. В основе сюжета лежит история отношений юноши, Михаэля Берга, и молодой женщины Ханны Шмиц, которая была старше него на двадцать лет. Во время каждой встречи с Ханной Михаэль был обязан читать ей книги, выбор которых она оставляла за ним, и молодой человек с не меньшим увлечением погружался в мир литературных произведений. Герои почти не обсуждали прочитанное, но книги становятся как маркером, так и триггером их нынешних и будущих отношений. Функция «чтения» приобретает в тексте амбивалентное значение. С одной стороны, это тривиальная фабула, которая призвана на какое-то время отвлечь внимание читателя от военной темы, имеющей принципиальное значение в тексте Шлинка; с этим нарративом читателю придется знакомиться постепенно. С другой — выбор книг становится средством создания художественных образов: Михаэля он характеризует как романтическую личность, чей инфантилизм долго будет мешать его проникновению в природу исторических традиций: в тексте ему отведена роль повествователя, а как говорил американский историк Хейден Уайт, «истории могут выходить из-под контроля своих авторов и рассказывать о них больше, чем бы

[1] Шлинк Б. Чтец. М.: Азбука-Аттикус, 1995. (Все сноски даются по этому изданию с указанием страницы).

они сами хотели» [Уайт, 2014: 89]. Ханна, напротив, не была сентиментальна, поэтому поступки героинь вызывали у нее резкие оценки и суждения: «Она была очень внимательной слушательницей. По ее смеху, презрительному фырканью, гневным восклицаниям или просто отдельным репликам было ясно, с каким вниманием следит она за развитием сюжета, как было понятно и то, что Эмилию с Луизой она считает просто дурочками. Нетерпение, с которым она заставляла меня читать дальше, объяснялось отчасти ее надеждой, что их глупостям рано или поздно придет конец»[2]. Ханна не глупа, достаточно проницательна, остается погруженной в историю героев в течение нескольких часов и может неожиданно задать вопрос о прочитанной (точнее, прослушанной) книге; таким образом она пытается научиться чувствовать внутреннюю жизнь персонажей. Впоследствии на Ханну, которая познакомится уже с антифашистскими произведениями, книги окажут сильное отрезвляющее влияние и сделают ее сопричастной делу формирования коллективной памяти. Таким образом, «идеологизация памяти становится возможной благодаря средствам варьирования, предоставляемым работой нарративной конфигурации» [Рикер, 2004: 619].

Постепенно в роман проникает еще одна важная для исследователя коллективной памяти тема — безграмотности: Ханна игнорирует письма Михаэля, не читает меню в ресторанах, не выбирает маршруты поездок за город, уничтожает записку, оставленную юношей в гостинице, когда он отлучается из номера, чтобы купить продукты к завтраку. Если поначалу герой объясняет ее поведение стремлением подчеркнуть над ним власть (оно напоминает сумасбродные поступки взбалмошной, эгоистичной женщины), то впоследствии он выяснит, что Ханна не умеет читать. Безграмотность тщательно скрывается героиней, маскируется под нежелание чем-либо себя нагружать. Именно эта тема актуализирует теоретическую дискуссию о механизмах исследования мнемонических и коммеморативных практик, зазвучит в унисон с идеями Патрика Хаттона о том, что «время темы памяти приходит, когда ученые <начинают> понимать ее связь с историей коллективной ментальности» [Хаттон, 2004: 7].

Не зная истинных причин, по которым героиня осталась невежественной, «функционально безграмотной», читатель может лишь догадываться, что они кроются в бедности или семейном неблагополучии. Впрочем, причины, по которым люди в совершеннолетнем

[2] Там же. С. 23.

возрасте не умеют читать, озвученные Л.В. Щербой, по-прежнему актуальны, хотя и не исчерпывают собой все ситуации (под безграмотностью известный лингвист понимает не только неумение писать/читать, но и незнание законов грамматики): это отсутствие дисциплины, новые неконструктивные методы образования и нежелание читать классические произведения [Щерба, 1957]. Даже в сегодняшней Германии (мы берем статистику этой страны лишь постольку, поскольку герои романа жили там), по сообщениям Berliner Zeitung, «четыре миллиона немцев, достигших совершеннолетия, не умеют читать и писать, и лишь немногие осмеливаются в этом признаться»[3]. Психологически модель поведения безграмотного человека совпадает с попыткой преступника скрыть следы преступления. Автор газетной публикации Хенер Йенс сообщает, что «тот, кто не умеет читать и писать, привык идти на любые уловки, лишь бы сохранить свою тайну. “Я даже перевязывал руку, ссылаясь на разрыв сухожилия”, — рассказывает 41-летний Тим-Тило Фельмер, механик по профессии. Он долго мучился, пока к нему не пришло осознание того, что надо избавляться от безграмотности»[4].

Отсутствие психической стабильности обнаруживается и в поведении главного героя романа: особенности повествования рассказчика соответствуют монологу пациента на сеансе у психотерапевта. Давно замечено, что человеку проще рефлектировать по поводу происходящего, транслируя его в текст: либо устный (в процессе коммуникации), либо письменный (мемуарно-иллюстративный). Без сомнения, поступки героя романа ориентированы на ассертивность, так как он способен формулировать и анализировать собственные эмоции и переживания. И все же ему не хватает психологического здоровья, чтобы преодолеть фрустрационное состояние. Если его модель поведения ближе к пассивности, то ее — к подавлению. Героиня способна ударить любовника, причем настолько жестоко, что у него из носа идет кровь.

В этих отношениях Михаэлю отведена роль «заместительной жертвы» — понятие, введенное в научную терминологию французским философом Рене Жираром в книге «Насилие и священное». Речь идет о невинности, ничем не заслуживающей ударов насильника, кроме как своей уязвимостью и досягаемостью, но принимающей на себя ярость, вызванную другим существом [Жирар, 2010].

---

[3] Хенер Й. Лгать всю жизнь. О функциональной безграмотности в Германии // Berliner Zeitung, 14.10.2009. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/2009/0395/gazeta031.php (дата обращения 30.09.2024).

[4] Там же.

Факт, что Ханна не умеет читать, говорит о том, что «другим существом», которое возбуждает враждебность в ее душе, является она сама, она злится на себя; в то время как «заместительная жертва» — Михаэль. Молодая женщина настолько горда и независима, что не может смириться с чувством слабости и несамостоятельности, порожденным безграмотностью. Так или иначе, тема чтения дергает сюжет за все нити.

Молодой герой «предпочитает» видеть рядом с собой женщину-мать, на роль которой могла бы подойти Ханна (вспомним, что она постоянно называет Михаэля «малыш»). И, хотя связь с ней — в его глазах — носила характер литературности, именно Ханна, а не мать, об отношениях с которой речи практически не ведется, становится для Михаэля «значимым взрослым», по определению исследователей эмоционального интеллекта (EQ). Неслучайно юноша отстаивает возможность любви между людьми с большой возрастной разницей, он как бы транслирует чужие романные чувства на собственные: «меня больше увлекали взаимоотношения Жюльена Сореля с мадам де Реналь, чем с Матильдой де ла Моль. Да и Феликс Круль смотрелся, по-моему, в объятиях матери лучше, чем в объятиях дочери. Моя сестра, которая изучала германистику, как-то заговорила за обедом о спорах вокруг того, существовала ли любовная связь между Гёте и Шарлоттой фон Штайн, — все подивились моей горячности, с которой я отстаивал существование этой связи»[5]. Личная жизнь героя не сложится. Когда у него появится семья, он не будет счастлив с женщиной, не готовой его понимать и принимать так, как это делала Ханна. Книги, авторы, персонажи, всплывавшие в сознании Михаэля в дни встречи с ней, очень романтизировали атмосферу; поэтому трагедия, пережитая им во второй части произведения, потрясет неожиданностью и непредсказуемостью.

Читатель узнает, что во время Второй мировой войны Ханна Шмиц была надзирательницей в одном из концентрационных лагерей и вместе с другими надзирательницами — вольно или невольно — оказалась повинной в гибели трехсот еврейских женщин. С этой минуты роман превращается если не в историческое повествование о Холокосте, то в повествование о «практическом прошлом» (Х. Уайт), устраняющем границы между историческим и художественным нарративами. Вторая часть произведения повествует о судебном процессе над надзирательницами, трансфор-

[5] Шлинк Б. С. 22.

мируясь внутри культурологического дискурса в попытку решить проблему индивидуальной и коллективной памяти, личной ответственности и эскапистского отстранения от истории. «От того, где мы помещаем память — в человеческом мозге или психике, зависит выбор дисциплины, к которой следует обращаться с вопросом, что такое память», — пишет современная исследовательница феномена коллективной памяти Ю.А. Сафронова [Сафронова, 2020: 13]. Амбивалентность поступков героини говорит об отсутствии как индивидуальной памяти в ее сознании, так и коллективной памяти в ее психике, ибо «коммуникативная (индивидуальная — И.А.) память мало формализована, это, скорее, устная традиция, возникающая в интерактивном контексте человеческих отношений в повседневной жизни, — своего рода "живое воспоминание", существующее на протяжении жизни трех поколений: дети — отцы — деды. Ее недолговечность (всего 80–100 лет) и отсутствие общепризнанных "пунктов фиксации", связывающих ее с глубоким прошлым, в первую очередь, отличают коммуникативную память от культурной», — поясняет профессор философии Е.В. Романовская [Романовская, 2010: 40]. Ханна Шмиц, осужденная на пожизненный срок, сумела осознать свою трагическую роль в произошедшем лишь тогда, когда, отбывая тюремное заключение, научилась читать самостоятельно. По-прежнему Михаэль надиктовывал ей тексты на магнитофон и отсылал в тюрьму. Теперь это более серьезные, с точки зрения актуальности и современности проблематики, художественные произведения. Здесь важно не столько их содержание, сколько рецепция героини, ее непосредственная реакция. Грубые, резкие слова в адрес писателей, прозвучавшие из уст Ханны («Шницлер лается, а Стефан Цвейг — и вовсе дохлая собака»[6]), могут показаться тождественными авторским. Именно так расценила их писательница, д.ф.н. Грета Ионкис: «Оба писателя — евреи, Цвейг, вынужденный после вторжения нацистов бежать из родной Вены, покончил с собой в изгнании. Хотя бы потому, уже не говоря о его таланте рассказчика, он не заслуживал столь оскорбительного отзыва» [Ионкис, 2016]. Удивительно, что реакция Ханны остается без комментариев Михаэля.

Тональность второй части книги, повествующей о судебном процессе, может показаться удивительно сдержанной. Судебное разбирательство — в рецепции главного героя — сводится не к попытке дать объективную оценку случившемуся в фашистской Германии, а к расследованию частного, пусть и ужасного, эпизода в военной

[6] Шлинк Б. С. 81.

истории. Вина надсмотрщиц видится судьям не столько в том, что они согласились работать в концентрационном лагере (однако Михаэль описывает оцепенение, испытанное участниками процесса, когда они узнают, что в лагерь из Освенцима присылали по шестьдесят женщин, способных на физический труд, а из лагеря отсылали в Освенцим ослабевших шестьдесят женщин — как отработанный материал — на уничтожение), сколько в том, что они не открыли ворота церкви, в которую на ночь были помещены триста еврейских женщин. Церковь сгорела во время бомбежек вместе с запертыми в ней узницами — и об их страданиях, об ужасе, пережитом людьми, уничтоженными в пламени пожара, об их криках и стонах речи в записях Михаэля не идет. Он вообще с трудом соединяет образ Ханны с той, которая работала надсмотрщицей. Желая лучше представить себе лагерную действительность, Михаэль едет в Штрутхоф. Однако поездка не помогает ему ни понять, ни осудить Ханну, видимо, слишком «музейно», кукольно, театрально выглядел лагерь, как «расхожее клише»: «Здесь можно было бы устроить горку для катания на санках, дети могли бы размещаться во время зимних каникул в этих веселеньких бараках с решетчатыми окошками, куда их звали бы после катания на пироги и горячий шоколад»[7]. Такое же представление было у Михаэля о мемориальных комплексах Аушвица, Биркенау и Берген-Бельзена. Таким образом, сохранение концентрационных лагерей в качестве исторического символа-послания, напоминания о страшных преступлениях и пережитых людских страданиях не играло своей эмпатической роли в первые послевоенные годы. Искажение, нивелирование мемориальной функции памятников актуально и для сегодняшнего дня, они теряют свою «смысловую нагрузку», уходят с арены истории, наделенной «травматическими и триумфальными моментами»: так, Бранденбургские ворота, по замечанию А. Ассман, все чаще напоминают «площадку для световой проекции» [Ассман, 2014: 9]. Как видим, Бернхард Шлинк ставит важный для немецкого общества вопрос о неспособности молодого поколения Германии испытывать чувство вины за грехи родителей, ощущать себя сопричастным убийствам, пыткам, казням. У молодежи не было ощущения коллективной ответственности, т.к. для нее не существовало понятия исторической памяти. Еще не наступило время для коллективного осмысления происходящего, поэтому так важен *личный* опыт переживания, чего-то интимно-разрушительного, чтобы изменить представление о независимости от истории.

[7] Шлинк Б. С. 67.

Для Михаэля этим опытом становятся прошлые отношения с Ханной. Он помнит, как хорошо ему было с ней, поэтому и задумывается, существует ли его вина в том, что случилось, коль скоро он любил такую женщину. К своему ужасу он узнает, что Ханна отбирала в лагере слабых девушек, для которых было предначертано скорое возвращение в Освенцим, приводила их к себе и заставляла читать ей книги. Когда же наступало время отсылать их в лагерь смерти, фактически на убой, она не пыталась спасти их, сохранить жизнь хоть кому-то из чтецов (вновь звучит тема «заместительной жертвы»; но теперь она приобретает новое звучание: на сей раз жертвы настоящие, в то время как палач не хочет видеть себя преступником). Таким же чтецом был для нее и Михаэль: «Маленький чтец, который ее развлекал, маленький любовник, который ее забавлял? Может, она и меня отправила бы в газовую камеру, если бы захотела от меня избавиться, но не знала другого способа?»[8].

Герой желал бы что-нибудь изменить в Ханне, как-то повлиять на нее, ведь казалось, что она не вполне осознает свою вину, а точнее — вообще не понимает, в чем ее обвиняют, — она просто выполняла приказы. Ее нежелание вспоминать об этом времени не вполне укладывается в концепцию «проработки прошлого», о которой писал немецкий философ Теодор Адорно: «<...> под проработкой прошлого вовсе не имеется в виду, что прошедшее перерабатывается всерьез и его чары рассеиваются под воздействием ясного сознания. Напротив, под прошлым хотят подвести черту и по возможности стереть его из памяти. Жест необходимости все забыть и все простить, приличествующий лишь тому, кто испытал несправедливость, практикуется сторонниками тех, кто виновен в совершении этой несправедливости» [Адорно, 2005]. Ханна не испытывает желания вычеркнуть прошлое, так как у нее нет прошлого, нет «комплекса вины», она «всего лишь» следовала букве закона. Парадокс в том, что в этих буквах она и не разбиралась, поэтому самоутверждалась, взяв в руки хлыст (расхаживающей по территории концлагеря с хлыстом в руках представляет ее Михаэль).

Герой также ощущает свою оторванность от истории, его личная жизнь не является частью коллективной, поэтому-то он и предпринял попытку съездить в концлагерь. Но она оказалась неудачной. «Чтобы прикоснуться к исторической реальности, стоящей за этой картинкой, (человеку — И.А.) необходимо выйти за пределы своего “я”, усвоить точку зрения группы, увидеть, как тот или иной

[8] Шлинк Б. С. 69.

факт стал памятной датой потому, что проник в круг национальных забот, интересов и пристрастий» [Хальбвакс, 2005]. Этого не может произойти до тех пор, пока событие не станет частью коллективной памяти, не превратится в «опорный пункт воспоминания» [Крюкова, 2020: 111]; что касается немецкого общества, то в первое десятилетие после войны оно проявляло к миру лишь враждебность, подпитывая культуру ресентимента.

Приговор суда опирался на документ — равнодушно составленный отчет о гибели трехсот узниц, в написании которого обвиняли Ханну Шмиц. Хотя женщина и пыталась доказать, что не она являлась автором отчета, от графологической экспертизы отказалась, иначе для всех стала бы очевидной ее безграмотность. Но автору важно подчеркнуть ее *духовную* близорукость, ее патологическую неспособность испытывать эмпатию к погибшим женщинам. Лишь гордость, ощущение усталости и отчаяния сквозили во всей ее фигуре. Понимая серьезность наказания (вплоть до пожизненного заключения), остальные надзирательницы перекладывали ответственность друг на друга, превращая судебный процесс в уличный балаган. Но вскоре, почувствовав слабость защиты Ханны, ведущей себя нелогично, непоследовательно и даже с вызовом (в день вынесения приговора она надела черный костюм, напоминавший эсэсовскую форму), а также догадавшись о неопытности ее адвоката, подсудимые во всем обвинят Ханну.

Читать она научится в тюрьме — и начнет самостоятельно выбирать книги: «Леви, Визель, Боровский, Амери — книги жертв нацизма, а рядом автобиографические записки Рудольфа Хёсса, отчет Ханны Арендт о процессе над Эйхманом в Иерусалиме, документальная литература о концлагерях»[9]. Можно предположить, что именно прозрение героини подтолкнет ее к самоубийству.

Слегка приподнять завесу над амбивалентностью поступков героини призвана психология. В знаменитом исследовании «Игры, в которые играют люди», своеобразном учебнике по трансакционному анализу, американский психолог Эрик Берн говорит о смене ролей, которые человек играет в жизни в процессе общения с другими людьми. Трансакция — это и есть действие, направленное на других людей. Берн называет три основных сценария человеческого поведения, то есть три основных эго-состояния: Дитя, Взрослый и Родитель. Иначе говоря, в его психологической конструкции «человек представлен в виде различных “эго-состояний”, он в каждый

[9] Шлинк Б. С. 89.

момент либо Ребенок, либо Родитель, либо Взрослый» [Папуш, 2001: 338]. На смену ролей (понятие «роль» использовано условно, т.к. является обозначением психологического состояния), выбираемых людьми, влияют различные внешние и внутренние факторы: раздражение, недомогание, радость, грусть и т.д. Берн пишет: «Наблюдения за спонтанной социальной деятельностью <...> обнаруживают, что время от времени разные аспекты поведения людей (позы, голос, точки зрения, разговорный словарь и т.п.) заметно меняются. Поведенческие изменения обычно сопровождаются эмоциональными. У каждого человека некий набор поведенческих схем соотносится с определенным состоянием его сознания. А с другим психическим состоянием, часто несовместимым с первым, бывает связан уже другой набор схем. Эти различия и изменения приводят нас к мысли о существовании различных состояний *Я*[10]» [Берн, 2015: 6].

Эти сценарии поведения являются моделью самопрезентации того или иного человека, численность эго-состояний варьируется от одного пациента к другому (ведь каждый человек одновременно и пациент). Отсутствие единства личности, ее «множественность», если говорить о Ханне, принимает черты патологические. С одной стороны, она стремится стать частью окружающего мира, но не знает как; с другой — пытается отделиться от него, обособиться. Ее эскапизм не является стратегией адаптации, а скорее — стратегией защиты, так как она боится быть поверженной в случае разоблачения ее безграмотности. Ханна воспринимает реальность как враждебную, дурную; вероятно, этим и объясняется ее самоубийство за день до освобождения из тюрьмы. И все же автор оставляет читателя без ответа на, казалось бы, самый важный вопрос: переживает ли Ханна муки совести, пробуждается ли в ее душе осознание вины, понимание сопричастности к преступлениям немецкой нации, или она так и не признала своего злодеяния. Ее самоубийство — следствие нравственных страданий? (В книге «История телесных наказаний в русском праве», впервые опубликованной в 1904 году, А.Г. Тимофеев, помимо классификации наказаний, одним из первых среди криминалистов поднимал вопрос о нравственных муках, испытываемых человеком, и они часто несоразмерны физическим страданиям [Тимофеев, 1904: 6–7]). Или жест, спровоцированный чувством одиночества, обиды на жизнь, нежеланием стать частью процесса конструирования коллективной памяти, коллективной ответственности?

---

[10] В данном переводе термин «эго-состояние» заменен термином «состояние Я» согласно традиции.

Проблемы истории в связи со свойственными человеческой индивидуальности явлениями памяти и забвения актуализируются в современной гуманитарной культурологической мысли остро как никогда. Роман немецкого писателя превращается в точную иллюстрацию поисков места, отведенного каждому человеку, отдельной личности в общей национальной культуре, а также в попытку осмыслить свою роль в процессе коммеморации исторического опыта. Б. Шлинк расширяет вопрос о границах соприкосновения коллективной и индивидуальной памяти до его философского звучания: не давая исчерпывающих ответов, писатель ограничивается постановкой проблемы о том, существует ли понятие коллективной ответственности, является ли коллективная память совокупностью «общепубличных» мемориальных практик или коллективная память является условно сформулированной дефиницией, размытой в сознании разных носителей-реципиентов и существующей как абстрактное фольклорно-национальное понятие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Адорно Т.* Что значит «проработка прошлого» // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/chto-znachit-prorabotka-proshlogo.html (дата обращения 10.12.2024).
2. *Ассман А.* Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика / пер. с нем. Б. Хлебникова. М.: НЛО, 2014.
3. *Берн Э.* Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М.: Эксмо, 2015.
4. *Жирар Р.* Насилие и священное / пер. с франц. Г. Дашевского. Изд. 2-е, испр. М.: НЛО, 2010.
5. *Ионкис Г.* Явление Бернхарда Шлинка // Литературный европеец. Monatliche Zeitschrift des Verbandes russischer Schriftsteller in Deutschland (Ежемесячный журнал Союза русских писателей в Германии). 2016. № 49. URL: https://le-online.org/mosty/mosty-articles/364-n49-mosty-ionkis (дата обращения 30.09.2024).
6. *Крюкова О.А.* Культурная память сквозь призму документального фильма (на материале языка «прямого кино» Квебека) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2020. № 2. С. 111–117.
7. *Папуш М.П.* Что делать с Эриком Берном // Берн Э. Секс в человеческой любви / пер. с англ. М.П. Папуша. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 329–380.
8. *Рикёр, П.* Память, история, забвение / пер. с франц. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2004.
9. *Романовская Е.В.* Морис Хальбвакс: культурные контексты памяти // Известия Саратовского университета. 2010. Т. 10. Вып. 3. С. 39–44.
10. *Сафронова Ю.А.* Историческая память: Введение: учеб. пособие. Изд. 2-е, испр. и доп. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2022.

11. *Тимофеев А.Г.* История телесных наказаний в русском праве. СПб.: Тип. В. Безобразова и К°, 1904.

12. *Уайт Х.* Практическое прошлое / предисловие А. Олейникова. М.: НЛО, 2014.

13. *Хальбвакс М.* Коллективная и историческая память // Неприкосновенный запас. 2005. № 2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html (дата обращения 10.12.2024).

14. *Хаттон П.* История как искусство памяти. СПб.: Владимир Даль, 2004.

15. *Щерба Л.В.* Безграмотность и ее причины // Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. М.: Учпедгиз, 1957. С. 56–62. URL: https://ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm (дата обращения 10.09.2024).

16. *Шуб М.Л.* Феномен коммеморации: опыт культурологического анализа практик публичного поминовения (на примере наименования улиц Челябинска) // Обсерватория культуры. 2018. Т. 15. № 2. С. 161–169.

Irina L Anastasyeva

CULTURAL, SYMBOLIC AND COLLECTIVE MEMORY IN A LITERARY TEXT

Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia;
anastastevairina@gmail.com

Abstract. Bernhard Schlink's novel "The Reader" belongs to the kind of works of fiction that are referred to as "remembrance and reminders" literature, thus this narrative fits into the commemorative discourse, particularly in the dimension explored by the French sociologist Maurice Halbwachs. This pertains to the congruence of such concepts as individual memory and collective memory, or in other words, autobiographical and historical memory. Later, Halbwachs's theory would be further developed by German Egyptologist Jan Assmann, who distinguished between "living" memory, which is born in the process of direct communication, and symbolically cultural, existing within the framework of societal representations. The idea of overlapping two memory types and the possibility of their "ratification" by the memory bearer was formulated by the French researcher in the book "Les Cadres Sociaux de la Memoire" a hundred years ago, in 1925. However, the relevance of this book is obvious today and more than at the time of its publication. B. Schlink's novel becomes a vivid illustration of the problem of the rejection of the young generation of Germany in the first decade after World War II of collective memory in favor of individual memory, as well as an attempt to comprehend this socio-historical discourse. The aim of the work is to study the process of collective memory formation in post-war Germany depicted in the novel, refracted through the prism of personal perception of the cultural narrative.

Keywords: historical memory, collective memory, individual memory, commemorative practices, Bernhard Schlink, illiteracy, text within text

For citation: Anastasyeva I.L. (2025) Cultural, symbolic and collective memory in a literary text. *Lomonosov Linguistics and Intercultural Communication Journal,* no. 2(28), pp. 156–170. DOI: 10.55959/MSU-2074-1588-19-28-2-11 (In Russ.)

About the author: Irina L Anastasyeva — PhD in Cultural Studies, Associate Professor, Department of Comparative Literature and Culture, Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Lomonosov Moscow State University; anastastevairina@gmail.com.

REFERENCES

1. Adorno T.W. 2005. *Chto znachit «prorabotka proshlogo»* [The Meaning of Working Through the Past]. *Neprikosnovennyi zapas,* no. 2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/chto-znachit-prorabotka-proshlogo.html (accessed 10.12.2024). (In Russ.)

2. Assmann Al. 2014. *Dlinnaya ten' proshlogo: Memorial'naya kul'tura i istoricheskaya politika* [Der Lange Schatten Der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik]. Moscow, NLO. (In Russ.)

3. Bern E. 2015. *Igry, v kotorye igrayut lyudi. Lyudi, kotorye igrayut v igry* [Games People Play. The Psychology of Human Ralationships]. Moscow, Ehksmo. (In Russ.)

4. Girard R. 2010. *Nasilie i svyashchennoe* [Violence and the Sacred]. Moscow, NLO. (In Russ.)

5. Ionkis G. *Yavlenie Bernkharda Shlinka* [The Bernhard Schlink Phenomenon]. *Monatliche Zeitschrift des Verbandes russischer Schriftsteller in Deutschland,* no. 49. URL: https://le-online.org/mosty/mosty-articles/364-n49-mosty-ionkis (accessed 30.09.2024). (In Russ.)

6. Kryukova O.A. 2020. *Kul'turnaya pamyat' skvoz' prizmu dokumental'nogo fil'ma (na materiale yazyka «pryamogo kino» Kvebeka)* [Cultural Memory Trough Documentary Films (Based on the Language of Quebec's Direct Cinema)]. *Moscow State University Bulletin. Series 19. Linguistics and Intercultural Communication*, no. 2, pp. 111–117. (In Russ.)

7. Papush M.P. 2001. *Chto delat' s Ehrikom Bernom* [What to do with Eric Bern]. Bern, Eric. *Seks v chelovecheskoj lyubvi* [Sex in Human Love]. Moscow, EHKSMO-Press. (In Russ.)

8. Ricœur P. 2004. *Pamyat`, istoriya, zabvenie* [La Memoire, L' Histoire, L'Oubli]. Moscow, Izdatel`stvo gumanitarnoj literatury. (In Russ.)

9. Romanovskaya E.V. 2010. *Moris Khal'bvaks: kul'turnye konteksty pamyati* [Maurice Halbwachs: Cultural contexts of memory]. *Izvestiya Saratovskogo universiteta,* vol. 10, no. 3, pp. 39–44. (In Russ.)

10. Safronova YU.A. 2022. *Istoricheskaya pamyat': Vvedenie: uchebnoe posobie* [Historical memory: Introduction: textbook]. Vol. 2. SPb, Izdatel'stvo Evropeiskogo universiteta v Sankt-Peterburge. (In Russ.)

11. Timofeev A.G. 1904. *Istoriya telesnykh nakazanii v russkom prave* [The History of Corporal Punishment in Russian Law]. SPb., Tip. V. Bezobrazova i K°. (In Russ.)

12. White H. 2014. *Prakticheskoe proshloe / predislovie A. Oleinikova* [The Practical Past]. Moscow, NLO. (In Russ.)

13. Halbwachs M. 2005. *Kollektivnaya i istoricheskaya pamyat'* [The Collective Memory]. *Neprikosnovennyi zapas*, no. 2. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2005/2/kollektivnaya-i-istoricheskaya-pamyat.html (accessed 10.12.2024). (in Russ.)

14. Hutton P. 2004. *Istoriya kak iskusstvo pamyati* [History as an Art Memory]. SPb., Vladimir Dal`. (In Russ.)

15. Shcherba L.V. 1957. *Bezgramotnost' i ee prichiny* [Illiteracy' and its causes]. *Izbrannye raboty po russkomu yazyku* [Selected Works on the Russian Language]. Moscow, Uchpedgiz, pp. 56–62. URL: https://ruthenia.ru/apr/textes/sherba/sherba20.htm (accessed 10.09.2024). (In Russ.)

16. Shub M.L. 2018. *Fenomen kommemoracii: opyt kul'turologicheskogo analiza praktik publichnogo pominoveniya (na primere naimenovaniya ulic Chelyabinska)* [The Phenomenon of Commemoration: the Experience of Cultural Analysis of Public Commemoration Practices (using the example of street names in Chelyabinsk)]. *Observatoriya kul'tury*, v. 15, no. 2, pp.161–169. (In Russ.)

Статья поступила в редакцию 15.12.2024;
одобрена после рецензирования11.03.2025;
принята к публикации 22.03.2025.

The article was submitted 15.12.2024;
approved after reviewing 21.03.2025;
accepted for publication 22.03.2025.